

ПРОЛЁТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Орган правления союза советских писателей СССР.
Выходит под редакцией В. Визревского, А. Кулагина,
В. Лебедева-Кумача, М. Лифшица, Е. Петрова,
Н. Погодина, А. Фадеева.

№ 6 (857)

30 января 1940 г., вторник

Цена 30 коп.

Антон Павлович

Иван НОВИКОВ

Ивана Васильевича Рыбинцева, любимого в Орле педагога, не узнавали приятели, ученики, сослуживцы. Что с ним произошло за время каникул?

Он был всегда спокойным, уравновешенным человеком, очень ровным в обращении с другими людьми, простым и внимательным. Ученою специальностью его была ботаника, но он преподавал также и географию, и обе науки эти в его изложении не были похожи ни на сухой, пыльный гербарий, ни на мертвую карту с горошинами городов и паутинкою рек. Любили его ученики, а через него любил и эти предметы — «второстепенные».

Он столько наплодит нам географов и ботаников, что их хватит на весь Советский Союз, — не без нотки зависти шутили над ним его товарищи педагоги.

Чем он брал? Он не был ни плавным оратором, ни вдохновенным занкой. Но очарование было, кажется, в том, что он действительно любил природу и землю, что не были они для него только «предметом для изучения». Эта любовь его заражала и собеседников, из молодежи в особенности, и оттого была теплота в его речи и та интонация, немного задумчивая, которая самую простую житейскую фразу роднит с настоящей поэзией. Воображение у него было, и он как бы видел и осязал то, о чем говорил. И был он доверчив с людьми, о других судил по себе.

Но не те же ли самые качества и навели на него эту напасть? Очень возможно. Но только об этом никто не догадывался: все видели единственно то, что было снаружи. А снаружи было нехорошо. Рыбинцев становился чрезмерно задумчив и молчалив, на уроках рассеян. Какая-то скрытая дума его одолевала.

Есть люди, для которых беспокойство составляет как бы родную стихию: по всякому поводу они готовы жестиковать, возмущаться и восклицать, все у них как бы на поверхности, но все же подчас поражают, коли постигнет их подлинное горе, ясным, глубоким спокойствием, настоящим твердостью духа. А вот у Ивана Васильевича, напротив того, спокойствие, казалось бы, прочное, ровное, было отравлено. И отравляла в него постепенно, неспешно, но с каждым днем овладевала им все с большею силой.

Никто ничего не мог разгадать, но на глазах у всех задумчивость его перерастала уже в угрюмость, молчаливость подчас начинала прерываться желчными репликами, рассеянность на уроках переходила порой в раздражительность и придиришность, все возраставшее. Самые преданные ему ученики недоумевали и огорчались. Повидимому, он начинал становиться в тягость и самому себе.

Настоящих друзей у Ивана Васильевича, быть может, и не было, но было много людей, которые по-настоящему хорошо к нему относились и за него очень тревожились. Они пробовали подходить к нему и так, и этак. Но на доброе слово он отвечал недоверчивым, подозрительным взглядом, на шутку почти оскорблялся, а на попытку склонять его к совету, как врач, отвечал горькой усмешкой. И, однако, случилось ему простудиться, добродетель к нему подошла врач, предупредив: простуда простудой, но поглядеть бы поглубже. Врач поглядел — то ли не совсем глубоко, то ли уж чересчур в глубину. Повинным во всем оказалось желчный пузырь, проявивший чувствительность, и на столике у Ивана Васильевича оказались соответствующие порошки; приказана была диета; продиригована диета — с неизбежным прованским маслом.

Приходились больному проводить приятели, и квартирная хозяйка Ивана Васильевича, уютная старушка в стеганой кофте, рассказывала им в передней так тихо, как если бы доверительно сообщала о своем жаленье что-то не вовсе приличное: — Взглянь, голубчик, пузырь двумя пальцами и говори: «Уберите, говорит, от меня эту гадость. Терпеть не могу, как пахнет резиной!» Ну и не только что порошков, и масла прованского — де-ли-ка-тес! — не захотел даже отведавать. И тоже нехорошо этак выразился...

— Ну, однако же, как?

— Да говорит: «Это, говорит, только глубоко извращенные натуры могут любить прованское масло». А я его так обожал: де-ли-ка-тес! Ну что вы на все это скажете?

Да, что в самом деле тут скажешь! Разные люди говорили по-разному и уходили.

Второго врача прислали по первым болезням. Это был старичок обстоятельный, с малой практикой, с изрядною выдумкой; пришел по знакомству.

Лежавшего в постельке, кашлявшего — заставил он Ивана Васильевича подниматься с постели и проделывать перед собой целый ряд упражнений: косить глаза вверх и в стороны, разводить руки, с закрытыми глазами смыкать их и еще многое другое. Самому больному врач всего не скавал, это было бы с его стороны неосторожно, но поставившим поведением, что у Рыбинцева действительно сложное нервное заболевание, возможно, на почве переутомления глаз — работа за микроскопом; однако все в целом грозило ни много ни мало, как черною меланхолией.

Этот диагноз имел то благое последствие, что к Ивану Васильевичу приставать перестали. После простуды он скоро поправился (в этом врачи помогли) и вышел опять на работу — побывавший с собою наедине несколько дней, похулевший, отчасти как будто и успокоившийся.

Успокоение это, видимо, было, однако, порождено все той же его непонятной болезнью: от размышлений и внутренних мук Иван Васильевич решил перейти к действиям. Он долго сидел теперь по вечерам и что-то писал. Черкал, задумывался, снова писал, и снова черкал. Утром, проглядывая ночной свой труд, он безжалостно комкал и рвал листы, швырял их в корзину. Наконец он на чем-то остановился и надписал два конверта в Москву: Григорию Петровичу Барскому и Валентине Сергеевне Струковой; адрес их был один и тот же. А когда подошли зимние каникулы, он взял билет на Москву же и отправил Григорию Петровичу, приятелю своему с детских лет, еще и телеграмму.

Нам хорошо известны все обстоятельства жизни Ивана Васильевича, и нам кое-что надлежит рассказать из того, что неведомо было другим орловцам и о чем они только гадали. Что же с ним приключилось? Уж не узнал ли какую-нибудь его тяготившую тайну? Ужель преступление, хотя бы невольное? Нет, ничего этого не было; нет, все очень просто.

Весною этого года, когда над первыми проталинами едва зазвенели чуть видимые первые жаворонки, в высоких простых садах, в свободный от занятий день молодой педагог, отправившись вверх по течению Орлика, с увлечением перескакивал через ложбинки и рывтинки, на дне которых журчали ручьи, и с упоением вдыхал запах мокрой земли из-под талого снега. Он не был охотником, но бродячая жилка билась в нем сильно. Подчас почти он радовался молчаливой пере-

мене в жизни земли. Ледниковый период кончался; маты еще матерки — облажались. Это была живая его география. И как радостно он рассмеялся, когда у одного из оттаявших таких ледников, по южному склону, под ореховым голым кустом он различил огоньки курослепа. Вот и ботаника, вот сама жизнь — возвратная, вечная молодость!

Вдруг он услышал у оврага, в недалеком леске, восклицание: «Ах, что я наделала!» — тотчас побежал и увидел в коротенькой шубке молодую женщину. Она провалилась в глубокий снег выше колен и только что вытаскила правую ногу.

— Что я наделала! — повторила она: там остались и ботики, и туфля!

Такой она и стояла с поджатой разутой ногой и не знала, что делать: ступить прямо в снег и вытаскивать левую ногу, а вдруг опять то же самое? Девушка эта Ивану Васильевичу показалась снегуркой, но руки ее были теплы и не таяли.

Мы не будем рассказывать милых подробностей встречи, знакомства... любви? Да, может быть, именно даже любви. Так думал по крайней мере сам Рыбинцев. Вместе с весною это новое чувство вошло в него и заструилось по жилам так же естественно, как воды ручья бегут по откосу. Но отшумели внешние воды, и Валентина Сергеевна вернулась в Москву.

По окончании медицинского института она осталась при кафедре и занималась серьезной научной работой. Это был месяц отпуска, который она приехала провести на родине.

Отца ее был старшим садовником в одном из совхозов, расположившемся в бывшей усадьбе с традиционным липовым парком. Многие прежние адония были разрушены, но на их месте возникали другие: теплицы, оранжереи. Волею старшего сада с осевшими на земле уловатыми осенними веточками расположился обширный плодовый питомник. По аккуратным рубящим расхаживал там, по-хо-зьянски дыма коротенькой трубочкой, сам старик Струков — молодой хозяин по сему десятилетью; с ним Иван Васильевич также дружил. Струков, покрикивая, любил приговаривать:

— А старая яблонка, что же она, — не цветет? А цветы на ней, что же, — не молодые цветы?

У него еще было много мечтаний: в каждой деревне должен быть сад!

И сады эти вырастут из этого вот детского сада. — Так он шутя называл свои саженцы. — Губерния-то наша, говори по-старинке, недаром губерния тургевская! А уж вырастить — выращу... Видишь, какую красавицу, погляди, возмат!

Иван Васильевич при подобных словах густо краснел, и сердце его замирало. Не было дня в этот месяц, чтобы под вечер не заходил он сюда. По окрепшей, подсохшей земле, между уже опущенных кустарников, часто его провожала Валентина Сергеевна. Весна ворошилась неустанно, немолчно. Кудрявая зелень, пенные птиц, легкие и строгие очертания холодноватых первых цветов: все точно так было в груди и у Ивана Васильевича. Он так берег эту тайну свою, что никому было и невдомек.

Но скоро они должны уже были и расставаться. Летом ей предстояла научная командировка. Когда же увидится? Но Валентина Сергеевна об этом ни звука. И часто теперь, возвращаясь домой и следя глазами таявший в сумраке силуэт провожавшей его милой девушки, он крепко переплетал пальцы и чувствовал, что у него не было слов: музыки сколько угодно, а слов для ее выражения нет. Впрочем, они говорили о многом, а часто и просто болтали между собой — весело и непринужденно, смеялись, шутили, и только о чувствах своих ни он ни она ни словом так и не обмолвились. По обычаю, когда дочка уехала, только один старик Струков крепко сказал и определенно:

— Она у меня верная. Кого уж полюбит, так не разлюбит.

С верою в то, что между ними любовь (как же иначе?), Иван Васильевич и провел свое лето на юге, в степях. От Валентины Сергеевны не было писем, но по возвращении ждало его письмо от старого друга. Гриша Барский писал: «Я очень рад, что ты отыскался. Мы не выжили семь лет, с университета, а совсем было тебя потерял. Но жена моя, ты ее знаешь, дала мне орловский твой адрес. Она так о тебе хорошо вспоминала, что даже всплакнула. А женат я давно — уже второй раз... Гриша шутил, письмо было дружеское, но Иван Васильевич, прочтя его, два часа сидел за столом неподвижно и встал из-за стола другим человеком, тем самым, которого, чем дальше, тем больше, переставали узнавать приятели, ученики, сослуживцы.

На письмо это Рыбинцев не отвечал, да и у отца Валентины Сергеевны побывал всего только раз. Спелые крепкие яблоки там и сям на порожелой траве были сложены в кучи; золотилась в подстилке солема, краснела, бурела листва на деревьях; неяркое небо было чисто, безоблачно; воздух разрежен. Все хорошо и все очень печально. Откуда ж печаль? Да не отсюда ли, что мы видим природу через тот кусочек ее, каковым мы сами являемся?

Но Струков был весел, здоров, разговорчив; синий дымок из ореховой трубки вался к глазам; выбываясь на волю, седла завивалась и сыла под солнцем, вопреки всему — весело. Он много рассказывал о разных садово-плодовых делах и только прощаясь сказал о своей Валентине:

— А ты о ней не грусти. Поверь мне, голубчик, она уж плохого не выберет. Она у меня верная. Кого уж полюбит, того не оставит.

Слово в слово почти, как говорил и весной... Что же старик — надевался над гостем? Дикарь!

Все же Иван Васильевич в ответ промолчал и только потопорщился ути. Он ушел, еще больше замкнувшись, еще более настороженный и недоверчивый к людям, к миру, к себе. Так вот каковы были переживания, вот каковы были друзья: такой жебнувшись даже природа: осень настала наредкость дождливая и ветрилая. Какие же тут доктора в этой болезни могут помочь? Есть ли на свете такие доктора?

Иван Васильевич Барскому, как мы поминили, написал только уже близко к зиме. Письмо было горькое и ядовитое. Год назад он ужаснулся бы сам, прочтя эти строки, и не поверил бы, что это он мог написать. Он не только не остерегался самых язвительных мыслей и слов, но, напротив, искал их, вызывал их. «Я приеду в Москву и вызову тебя телеграммой. Посмотрю на тебя, как ты войдешь ко мне». В письме к Валентине Сергеевне вся ядовитость была в том (и это было мучительнее всего), что он

в самых холодных, но изысканно вежливых фразах, поздравлял ее и желал ей полного счастья. И опять-таки раньше от такого письма он бы покрылся краской стыда. Теперь этого не было; все, что писал, было теперь — с подлинным верное.

Он ехал в Москву накаленный, измученный, этой. В вагоне его лихорадило. Звук от колес отдавался в висках: «Зачем ты поехал? Зачем ты поехал?» Но знал, что остаться ему одному, все с теми же мыслями, — нет, оставаться было нельзя!

Москва его встретила снегом, метелью. Стык от нее, плохо ее узнавал и торопился скорей на Божедомку, где жила его старая тетюшка.

Тетюшки не было дома. Она доживала свой век бездетной вдовой, но у нее от племянницы были внучата: два близнеца. Она искала тепла и уюта, и в эту метель к ним ушла почевать. Снег белыми хлопьями бился в окно. Соседка ему принесла горячий чайник и бутылку. Он даже забыл ее поблагодарить. Завтра утром выйдет к нему Григорий Петрович Барский, молодой ученый-зоолог, тот самый веснушчатый Гришка, вместе с которым купались, дрались, лазили за малиной в чужой палисадник, сидели, разинувши рты на медные трубы, слушая музыку в городском саду над рекой. Все было, и ничего этого нет. Ужали враги? Да ведь иначе и не назовешь. Чайная ложечка дрожала в руке Ивана Васильевича, и дробный этот, жалобный звук как бы подтвердил, что все дорогое на свете разбилось.

На тропу тетюшкиной, по-девически белоснежной постели с кружевной напикой на подушке, Иван Васильевич прилежал на короткий и жесткий диван, не раздеваясь. Но уснуть он не смог; сердце стучало, мысли кололи. Зажег опять свет и увидел на этажерке старый потрепанный томик. Он потянулся и взял книгу. Раскрыл, где пришлось, и начал читать, по началу едва понимая. Но чем дальше читал, тем более отрешался от самого себя.

Это была когда-то давно уже читанная, но изголодавшую забытая «история одной поездки» — чеховская «Степь». И вот — как коварно, настойчиво, после первого же большого укола, просочилась в доверчивого Ивана Васильевича отравка недоверия к людям, захватившая его целиком с течением дней подобно степному пожару, где огонь лижет подряд и траву, и самую землю, испепеляя спрятанные в ней корешки, — так с такою же, но уже мягкой и теплой настойчивостью, постепенно все глубже и глубже овладевало им человеческое, широкое и поэтическое дыхание писателя: точно касание чьей-то родной, старшей руки, под которым себя опять ощущаешь ребенком. Егорунки, мальчику, открывалась в поездке его по степи — жизнь, как она есть; и то, что здесь не было ни прикрас, ни утайки, и все же все было светло, как кный ручей, — это и было так же прекрасно, как воздух, как ощущение предельности жизни самой по себе. Мысли и чувства Ивана Васильевича, измученного внутренним противоречием, вновь находили обычный свой строй, лад и гармонию.

В повести не было решительно ничего, что хоть как-нибудь переключало бы с коварнейшей его внутренней драмы, и опять-таки именно это и было для него истинно благотворно. Ничто не касалось больших его мест, и все было целебно. Три человеческих существа точно сливались в нем воедино: он сам, мальчик Егорунка, Чехов. Да, и Чехов здесь был.

Читавший не думал об этом. Он ощущал всем своим существом, как слово, но бы после длительного отлива и мравящего зноя прохладные воды вновь подступали под истомленные берега. Земля и природа были опять живы и близки, и от людей неотделимы.

Ночь пробежала неслышно и незаметно. Москва и метель. А он ехал по степи. И он простудился, но так же и он, как Егорунка, утром проснется здоровым. Есть же на свете и такие вот доктора!

Может быть, это Иван Васильевич придумал и позже, спорить не станем, но будто ему показалось, что Чехов, как доктор, уже присел к нему на диван. Он тронул лезвонью рукою душко пенсия и спросил у лежавшего, чуть наклонившись: — Да на что же вы собственно жалуетесь?

— Ах, я потерял... И мне нало...

— Все пустяки. Вам только надо найти себя самого.

Утром, проснувшись, Иван Васильевич долго лежал не шевелясь. Он словно боялся, что снова себя потеряет, себя, настоящего. Он видел теперь со стороны и того Ивана Васильевича, каким он был в эти ужасные последние месяцы, и глядел на него с изумлением и отвращением, точно на лежавшего перед ним безобразную вещь. Вспомнил людей, к нему расползшихся, которых он обожал, почти оскорблял; вспомнил работу, которую бросил, учеников, от него отошедших. Как перед ним он был виноват! И как был виноват перед Гришей Барским и... перед нем. Ведь он ничего даже не знал, как у них было, и, быть может, давно, и чем же она перед ним виновата? Он полюбил ее, да, но разве всегда так и бывает, что если один полюбил, то и другой? Где же правда его, где же измена ее? Ведь она его не обманывала... Ясным глазам все ясно теперь.

И вспомнил слова старика. Кажется, он и его теперь понял. И почему тогда так обиделся? Разве нельзя за другого порываться и независимо от самого себя? Трудно? Но ведь и трудное можно, коли не замкнуться в себя, не отвернуться от жизни... И самое главное то, что теперь это не было даже и трудно, а только естественно.

В дверь постучали. Гриша вошел с тревожным, настороженным лицом. Но эту тревогу, видимо, он подавлял, готовый к тяжелому поединку, объяснению.

— Ты мне писал. Ты вызвал меня телеграммой.

Иван Васильевич подтянул слегка занемевшие ноги и приподнялся с подушки. Он был застигнут врасплох. И хорошо.

— Полоди, — сказал он. — Как я давно тебя не видал, как рад тебя видеть!

Гриша с недоумением и все еще напряженно сбросил пальто и подошел к старому другу. Рыбинцев крепко обнял его и поцеловал, и Гриша, педая, видел улыбку его и ощущал одновременно, что лицо Ивана Васильевича было мокро от слез.

Когда они вдоволь наговорились, и все стало на место, все без прикрас и утайки с той и с другой стороны, раздался звонок поздравляющей тетюшки. Гриша Барский сказал:

— То-то тебе Валентина обрадуется! Но все-таки, что же такое было с тобой?

— Я очень был болен, — серьезно ответил Иван Васильевич. — Но меня вылечил чудесный доктор.

— Где и когда?

— Где-нибудь ночью. Да и ты его знаешь. — Он положил руку на потрепанный чеховский томик и с улыбкой добавил: — А зовут его — Антон Павлович.